3(05)
О-28

ОНС

ISSN 0869-0499

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1

Структура поля экономического знания

Граница между академической и публичной наукой

Капитализм и социализм как миф и легенда

Мечты россиян "об обществе" и "о себе"

Геополитика – фантом ложного сознания

Кто виноват: природа или институты?

Институты в социологии, политологии и правоведении глазами экономиста

В поисках удаляющихся пространств

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

2015

М.А. ФЕЛЬДМАН

Большевизм: нелегкий путь к разгадке феномена

В статье обсуждается неоинституциональный подход А.Медушевского к феномену большевизма, раскрыты его преимущества и дана его критика со стороны системного исторического подхода. Показана двойственная природа большевизма, по-разному проявлявшаяся в различные исторические периоды.

Ключевые слова: неоинституциональный подход, когнитивная история, большевизм, русская революция 1917 г.

In article A. Medushevsky's neoinstitutional approach to a Bolshevism phenomenon is discussed, its advantages are shown and his critic from the position of system historical approach is given. The dual nature of the Bolshevism during various historical periods is shown.

Keywords: neoinstitutional approach, cognitive history, Bolshevism, Russian revolution of 1917.

Приближение столетия Октябрьской революции 1917 г. вызывает вполне закономерный поток публикаций, авторы которых пытаются с новых методологических позиций, приращенного исторического знания и опыта дать оценку этого события в российской и мировой истории. Особое внимание приковано к оценке большевизма – демиурга революции в октябре 1917 г. Поскольку большевизм как идейное и политическое течение тесно слит с государственной машиной Советского государства, научная оценка этого феномена позволяет глубже понять как достижения советского общества по шкале приоритетов мировой истории, так и его непохожесть и своеобразие, меру его социальной и духовной аномальности.

Подобно двум враждующим армиям в информационном пространстве России столкнулись два потока книг по истории Октября. Один поток рассматривает большевизм как прогрессивное явление, а советскую историю – как демократический вариант развития общества, другой характеризует большинство событий в СССР 1917–1991 гг. в русле теории тоталитаризма. Собственно говоря, речь идет не только об оценках российского большевизма, Октябрьской революции 1917 г., спор касается роли социалистической теории и практики в мировом контексте. В целом отношение к последним скорее негативное. Мысль американского социолога Дж. Александера о том, что появление социалистической доктрины было закономерной реакцией на буржуазные революции в Европе, следствием секулярной трансформации религиозной веры; что она социологически корреспондирует с духом капитализма, исторически являясь его контрагентом и наследником [Александер, 2013, с. 10–11], встречает весьма резкое негативное отношение.

Фельдман Михаил Аркадьевич – доктор исторических наук, профессор Уральского института – филиала Российской академии народного хозяйства и государственного строительства (Екатеринбург).

Позиция А. Медушевского: плюсы и минусы

В этой связи значительный интерес представляют статьи А.Медушевского [Медушевский, 2013, № 5, с. 114–126; № 6, с. 111–120], последовательно рассмотревшего причины, содержание, ход, результаты, характер воздействия на исторический процесс революций 1917 г. в России и проанализировавшего их при помощи институциональных подходов [Материалы... 2008]. Исходя из уточнения, данного самим автором, подобный метод скорее следует называть *неоинституциональным*, позволяющим "переводить доктринальные дискуссии на уровень правовых актов, институтов, процессов и технологий, показывая, в частности, где была допущена ошибка" [Медушевский, 2007, с. 6].

В рамках данной статьи трудно, а может быть, и не нужно давать оценку всем достоинствам и недостаткам неоинституционального метода, но можно остановиться на одной из его составляющих, особенно актуальной для анализа большевизма. Медушевский выбрал в качестве своей технологии "теорию и методологию когнитивной истории" [Медушевский, 2013, № 5, с. 114]. Термин "когнитивность" означает способность к умственному восприятию и переработке внешней информации. Объектом когнитивной истории, доступным непосредственному наблюдению, выступают интеллектуальные продукты человеческой деятельности. Эта технология требует изучения *информационой сферы,* которая являет собой материально-вещественный след когнитивного феномена человеческого мышления, находящий проявление в деятельности людей, а также *информационной среды* – пространства, где эта деятельность осуществляется через *опосредованный информационный обмен* [Медушевский, 2009, с. 71]. На этой основе автор обращается к разгадке феномена большевизма в "контексте современного опыта экстремизма и терроризма" [Медушевский, 2013, № 5, с. 114]. Справедливость подобного обращения и сравнения не вызывает сомнения у исследователей XXI в., за исключением тех, кто и сегодня рассматривают В. Ленина и И. Сталина как величайших деятелей XX в., оправдывая их тотальную войну против собственного народа.

Однако примечание автора – "большевистский эксперимент оказался полностью несостоятелен" – изначально задает не только вектор, но и весьма узкий диапазон оценочных индикаторов, по сути, между утопическим и террористическим [Медушевский, 2013, № 5, с. 114, 124]. Между тем сам автор справедливо указывает на необходимость основательных исследований *двойственной* природы феномена большевизма, обращая внимание на распространенность определения большевизма как гибрида архаичного сознания и модернизации, характерного своим двойственным отношением к науке, сочетанием ретроспективного социального идеала (коммунизм) с попыткой рационально обоснованного социального конструирования новых отношений и использованием для этого мобилизационных технологий [Медушевский, 2013, № 5, с. 116].

Собственно говоря, каждое упоминание о двойственности подходов большевизма к модернизации, науке, социальному конструированию общественных отношений требует от автора выхода за пределы собственной концепции – либо указания на последние публикации по тематике советского социализма, либо собственных выводов, выходящих за пределы жесткого и однозначного представления о полной несостоятельности большевизма. Порой так и происходит. Отметив, что "тотальность и масштабы претензий большевизма роднят его с современными формами религиозного экстремизма", Медушевский в то же время обоснованно подчеркивает: "...но не делают их тождественными в силу рациональной и светской природы учения большевиков" [Медушевский, 2013, № 5, с. 116]. Таким образом, согласно логике автора, *двойственность* подходов большевизма к модернизации, науке, социальному конструированию подлежат анализу в рамках рационалистических объяснений большевистской идеологии и практики как проявления социальной аномалии, возникшей естественным путем [Медушевский, 2010, с. 26]. Однако, как правило, этот анализ не проводится из-за непоследовательности самого автора.

Б. Мироновым, выразившим сомнение в тезисе, согласно которому интеллектуальные продукты человеческой деятельности всегда определяются единственно и только мышлением вовлеченных в их производство людей. В этом случае сведение объекта исторического изучения к мышлению людей, вовлеченных в производство интеллектуальных продуктов, неоправданно сужает задачи исторического исследования [Миронов, 2011, с. 147].

Двойственный характер большевизма

Важным для понимания феномена большевизма является вопрос о происхождении этого идейного и политического течения. Медушевский верно указывает: большевизм объединил якобинско-бланкистские традиции "Народной воли" и бакунинско-ткачевские идеи [Медушевский, 2013, № 6, с. 113]. Но если бы дело ограничилось только этими идеями и традициями, большевизм не вышел бы за пределы малоизвестной террористической секты. Однако, используя программные доктрины, теоретический и практический опыт социал-демократических партий Европы, он стал выразителем и ряда социальных и демократических требований. Тесное взаимодействие с рабочим движением (и, без сомнения, манипулирование им) привело к такому массовому явлению, как "большевизм социальных низов". Можно говорить о примитивизме понятий; романтических и наивных ожиданиях светлого будущего; широко распространенных уравнительных требованиях и квазирелигиозных убеждений "низового большевизма". Однако, в силу погруженности в суровую бытовую реальность советской действительности, благодаря постоянной борьбе за выживание именно к этому виду большевизма менее всего подходит утверждение о такой когнитивной особенности большевизма, как "неспособность к гибкому разрешению противоречия между догмой и социальной практикой" [Медушевский, 2013, № 6, с. 118].

Важным фактором, влияющим на формирование большевизма, стал его "хозяйственный уклон". Приведу такой факт. Из 602 вопросов, рассмотренных в 1926 г. на заседании Уральского обкома ВКП(б), только 4 касались непосредственно партийных проблем. В то же время 125 вопросов относились к разряду "хозяйственных". Все остальные делились между категориями "советские", "профсоюзные", "организационные" [Центр... л. 479]. Перегруженность хозяйственными вопросами порождала у представителей партийных инстанций как формальный, бюрократический подход, так и механизмы социального приспособленчества, знакомые нам по характеристикам чиновничества дореволюционной России. Именно в этом слое шла, как справедливо отмечает Медушевский, селекция большевизмом людей с определенными психическими особенностями, выражающимися известным понятием "авторитарной личности"; формировался антропологический тип, возникший в условиях военно-партийной диктатуры [Медушевский, 2013, № 6, с. 115]. Вместе с тем в среде хозяйственников (руководителей предприятий, трестов, главков, наркоматов) шло становление иного типа большевиков. Оставаясь верными "солдатами партии", немалая часть большевиков-хозяйственников выдвигала на первый план прагматические принципы деятельности, экономические знания; в той или в иной форме осуждала террористические методы "революционной практики" [Фельдман, 2011].

Отечественную историю 1920–1930-х гг. можно охарактеризовать и как процесс столкновения двух тенденций внутри большевизма: прагматической и утопическо-террористической. Потерепев поражение в 1937–1938 гг., первая тенденция вновь возродилась в годы войны. Именно с прагматической тенденцией связаны успехи индустриализации и победа в Великой Отечественной войне. Именно прагматики формировали те институты советской системы, которые в итоге оказались наиболее устойчивыми. Поэтому если рассматривать социум хозяйственников как институт, очевидна спорность утверждения Медушевского о том, что не институты порождают психологию формирующейся бюрократии, но именно эта психология определяет характер функционирования институтов [Медушевский, 2013, № 6, с. 116].

С позиций когнитивно-информационной теории история – процесс взаимодействия индивидов, осуществляющих целенаправленную деятельность в рамках эволюционно и глобально единого информационного пространства, внутри которого происходит информационный обмен между индивидами и социумом [Медушевский, 2009, с. 72]. Однако уже в аннотации к статье 2013 г. Медушевский высказывает *противоположное* по смыслу суждение, заявляя, что "вопреки существующим в литературе социологическим объяснениям, автор реконструирует динамику большевизма с позиций внутренней мотивации поведения его адептов – в рамках конфликтного соотношения идеологии и исторической традиции по таким параметрам, как ценности, психологические установки, цели и средства их достижения" [Медушевский, 2013, № 5, с. 114].

Каким образом можно осуществить "попытку рационально обоснованного социального конструирования новых отношений и использования для этого мобилизационных технологий" вне социологического и исторического анализа *социума* – остается неясным. Впрочем, так же, как и изучение *не конкретных проявлений менталитета большевизма*, а всего комплекса феномена большевизма исключительно по таким параметрам, как "ценности, психологические установки, цели и средства их достижения" [Медушевский, 2013, № 5, с. 116].

Медушевский справедливо указывает на наименее изученный наукой спектр проблем истории большевизма и советской истории: историю человеческого сознания и поведения. На вопрос: "что же произошло с душами людей?" – ответ в исторической литературе на сегодняшний день, скорее, отсутствует. Но возможно ли прояснить этот вопрос вне анализа процессов социальной истории, вне контекста изучения социальных структур и восприятия современниками образов конкретных социальных групп в их взаимодействии и взаимовлиянии?

По верному суждению Медушевского, такие философские подходы и гуманитарные дисциплины и методы, как структурализм, герменевтика, структурная лингвистика, оказались неспособными дать обобщающие оценки историческим процессам и явлениям постольку, поскольку не отвечали критерию точности и доказательности. Но тогда – возможно ли на пути к разгадке феномена большевизма давать характеристику процессов социальной адаптации (антропологической и когнитивной) [Медушевский, 2009, с. 72, 77–78] без выявления ее специфики в столицах и провинции; в республиках Кавказа и Средней Азии; в среде специалистов, среди художественной и научной интеллигенции, в командном составе армии, в рабочем социуме; в той части общества (53 % взрослого населения), которая и в 1937 г. на вопрос переписи о принадлежности к какой-либо религии, ответила: верую! [Всесоюзная... 1991, с. 106–107]? Разве в противном случае суждения о феномене большевизма не приобретают схематичный, доктринерский, линейный характер, плохо объясняя противоречия, срывы, резкие повороты в рамках теории и практики большевизма; не становятся телеологичными, не раскрывая механизмы перехода от одной фазы большевизма к другой [Медушевский, 2007, с. 6]?

Возможно ли объяснить причины крушения большевизма таким, по выражению автора, *фундаментальным фактором,* как «невротический комплекс большевизма – ощущение общей неадекватности, выражавшей совокупность вытесненных страхов, вызванных растущим ощущением неполноценности идеологических установок (коммунистического учения) и организационных принципов (однопартийная диктатура) в новых условиях (затухания "мировой революции")»? Можно ли оправдать использование однофакторной интерпретации – инструментария "невротического комплекса большевизма" для анализа большевизма как целого [Медушевский, 2013, № 6, с. 119]?

Подход Медушевского, по моему мнению, помогает выяснить психологические основы феномена трансформации идеологии и практики большевизма в конкретный период, но не способен стать основанием для характеристики феномена большевизма как целого. Думается, внимание к духовной истории тогда действительно обогащает науку, когда не превращается в абсолют, "истмат наоборот". Следует согласиться с

Перспективы изучения двойственности большевизма

Как представляется, феномен двойственности большевизма может стать предметом научного рассмотрения по ряду конкретных направлений. Во-первых, в контексте борьбы мирового Добра и Зла. Этическая составляющая во многом определяет эффективность власти [Скоробогацкий, 2007, № 6, с. 20]. Во-вторых, необходимо строго придерживаться принципа исторической конкретности. Эволюция большевизма в годы НЭПа, точнее – до установления тотального контроля Сталина за информационным пространством[1], показывает весьма причудливое соотношение действий, отвечающих народным интересам и продолжения злодеяний времен Гражданской войны. Но это только пример наиболее заметных проявлений двойственности большевизма, впитавшего в себя конгломерат разных, порой противоположных по смыслу и значению идей и практик, а также не меньший по разнообразию конгломерат представителей различных социальных слоев [Фельдман, 2013].

Критерий оценки большевизма определяется степенью его соответствия не только гуманистическим началам, но воззрениям и реальным чаяниям российского общества на определенных этапах истории; способностью отстоять независимость страны в самые тяжелые десятилетия "века-волкодава". В этих моих словах нет и намека на прощение зверства и жестокости большевизма. Здесь я полностью солидарен с Медушевским. Есть призыв к конкретизации исследования и обобщения.

В-третьих, вся история отношений большевизма и модернизации, большевизма и науки представляет собой хорошо известную постоянную борьбу рационального и утопического. Логика рационального пробуждала у части большевиков-хозяйственников приверженность научным принципам в экономической и научной практике. Логика утопического, противоречащего жизненному бытию, встречая сопротивление, обращала большевизм к чрезвычайщине и террору. По мере развития индустриального общества террор превращался в перманентную практику сталинизма, пока не закрыл саму возможность сохранения СССР как страны, конкурентоспособной в военно-экономическом отношении.

Сложнее обстояло дело с отношением большевизма и конструирования общественных отношений. Именно здесь большевистские лидеры чувствовали "необоснованную веру в свое историческое превосходство" [Медушевский, 2013, № 5, с. 118], порождавшую иллюзию свободы любых утопических действий. Вера в превосходство коммунистических идей действительно определяла реальное социальное поведение большевистских практиков, но догматический классовый подход упирался в сложную социальную реальность переходного общества, демонстрируя власти "не тот рабочий класс", "не ту интеллигенцию", и уж совсем "не то крестьянство", а в целом – несовпадение идеологических постулатов большевизма и подлинной жизни общества. Большевики должны были как-то реагировать на это.

По замечанию А. Давыдова, в годы Гражданской войны происходит деградация большевиков: "Гордые революционеры-пассионарии, в жестокой военной схватке одолевшие врагов, оказались бессильными приспосабливаться к действительности, уступать или изменяться и должны были превращаться в сатрапов" [Давыдов, 2013, с. 32]. Но что поразительно: само содержание интересной во многих аспектах статьи Давыдова, оригинально трактующей проблему столкновения рынка и уравнительного распределения, как раз свидетельствует не об однозначности, а о двойственности описываемой им эволюции большевизма, и это отчетливо проговаривает сам автор: "…в целях выживания народ взял на себя функции государства и заставил его **измениться** (выделено мной. – *М.Ф.*)" [Давыдов, 2013, с. 14].

---

[1] Об этом говорит анализ общесоюзных экономических журналов и провинциальной (в частности уральской) прессы. Так, в официозе Уральской области – журнале "Уральский коммунист" в 1920-х гг. присутствуют такие проявления партийной демократии, как нелицеприятная критика Первого пятилетнего плана (см. [Фельдман, 1999]).

Эволюция большевизма, связанная с вынужденным приспособлением к действительности, – одна из наименее изученных историками областей прошлого России. Как всякое приспособление, она содержала и социальную мимикрию, и подыгрывание низменным запросам части населения, и ситуативный, временный маневр в преддверии новых утопических экспериментов. Но статья Давыдова тем и примечательна, что дает методологический ключ к изучению феномена большевизма: столкновение добра и зла, утопии и реальности, науки и мракобесия, объективно существующих и насаждаемых насильно социальных конструкций не может быть оценено однозначно. Оно имеет как общий негативный результат, так и разнообразные конкретные результаты в различных точках исторического развития.

Статья Медушевского систематизирует функции большевистского террора как инструмента социального конструирования [Медушевский, 2013, № 5, с. 124]. (Надеюсь, что этот ее абзац будет введен в учебники.) Но террор, убивая сомневающихся и деформируя слабых, показывал ограниченность своего воздействия. Если правоту вывода Медушевского касательно общего результата развития феномена большевизма – его несостоятельности и провала – подтверждает факт распада СССР, то ответы на вопросы о результатах конкретных столкновений и противоречий внутри феномена большевизма не могут базироваться только на описании набора частных случаев. Для этого необходим анализ альтернативных вариантов исторического развития СССР как страны, в которой большевизм не только сросся с государством, но в той или иной форме и мере вошел в общественное и индивидуальное сознание. Именно в этом сознании шло отторжение большевизма в целом и принятие той или иной из составляющих данного феномена. Разгадка феномена большевизма так же неотделима от характеристики российского общества во всем его многообразии, как оценка якобинства неразрывно связана с характеристиками разнообразных потребностей и запросов, соразмерности социальных сил и их идеологических предпочтений во времена Французской революции 1789–1794 гг.

В публикации И. Пантина, уже в течение ряда десятилетий обращающегося к рассматриваемой теме, чьи работы носят, на мой взгляд, традиционно советский характер, присутствует трудноопровержимое утверждение о причастности большевизма к реализации своеобразного *способа построения современного общества*, к созданию таких экономических, политических, культурных условий, которые позволили громадной стране двигаться с учетом местных условий по пути индустриально развитых стран Западной Европы и Северной Америки. Для понимания феномена большевизма важное значение имеют слова Пантина (не раз приводимые в исторических публикациях последних двух десятилетий) о том, что следует различать демократический потенциал Октябрьской революции, НЭП как единственный способ реализации исторически значимого потенциала Октября и сталинский разрыв с НЭПом, стремление диктаторскими методами "построить социализм" в СССР, обернувшийся тоталитарным перерождением власти и террором против собственного народа [Пантин, 2013, с. 138, 141].

Эволюция большевизма проходила в стране, социально-экономический строй которой не только не вышел за пределы буржуазных отношений, но оставался на стадии раннего, неразвитого капитализма. В силу этого большевизм оказался причастен к форсированному решению антифеодальных задач. К несчастью, для народа нашей страны, отмечает Пантин, привычка к насилию коренилась в исторических и социальных условиях России, в культуре, традициях, психологии ее населения. Именно они породили возобновляемость якобинских, военно-коммунистических методов при каждом обострении противоречий в российском обществе, их неискоренимость, что обусловило формирование нравственных качеств и образа действий целой генерации большевиков, а также ту легкость, с которой Сталин и его линия одержали победу вопреки исходно демократической идеологии российской революции [Пантин, 2013, с. 135, 136, 137, 141].

С Пантиным солидарен и Александер, отметивший зависимость содержания социалистической доктрины от культуры и структуры среды. "В обществе, где у низших

классов и недовольных интеллектуалов есть реальный доступ к доминирующей культуре, критическая анти-*laissez-faire* идеология социалистических оппонентов режима может быть столь умеренной, что не будет походить на социализм вообще, пусть и разделяя базовые принципы реформистской веры. Напротив, в обществах, где силы, намеренные бросить вызов, не находят доступа к рычагам господствующего культурного и политического аппарата, итогом явится более воинствующая форма социализма" [Александер, 2013, с. 13].

При всем том, что большевизм – российское (советское) явление, его движение в первое десятилетие советской власти к тоталитаризму не было полной аномалией в мировой истории. Так, например, в период 1920–1930-х гг. практически во всех странах Восточной и Южной Европы утвердились авторитарные режимы в виде президентских или монархических диктатур, что признает Медушевский [Медушевский, 2007, с. 4].

Пантин обоснованно обращает внимание на специфическое отличие большевизма: для решения незавершенных буржуазно-демократических задач большевики использовали социалистическую доктрину. Я согласен с его мыслью о том, что "большевизм стал той почвой, на которой целые социальные слои осознавали свои интересы и боролись за них. Если угодно, идеология большевиков перевела социализм на народный язык со всеми отсюда вытекающими плюсами и минусами" [Пантин, 2013, с. 141]. Но хотел бы заметить, что по мере укрепления советской власти шло быстрое усиление догматических и утопических элементов в самой *доктрине* социализма, – и столь же стремительное уменьшение демократической составляющей.

Пантин здесь, на мой взгляд, совершает ту же ошибку, что и Медушевский, не замечая *двойственности большевизма*. Игнорируя противоборствующие силы и тенденции внутри этого движения, он однозначно утверждает, что "социалистическая оболочка скрывала в России демократическое (в смысле социальной демократии), прогрессивное радикальное ядро" [Пантин, 2013, с.138]. В такой односторонней форме данное утверждение превращается в схоластическое, так же как постулат о том, что "историческую миссию буржуазии реализует антипод буржуазии – пролетариат" [Пантин, 2013, с.138]. Данная постановка вопроса не выходит за круг советских представлений 1930–1980-х гг.

* * *

Изучение феномена большевизма действительно возможно (и желательно) при помощи институциональных подходов, но при строгом выполнении требований, которые заключены в самих этих подходах. При понимании не только достоинств определенного метода познания, но и объективной ограниченности его инструментария. Когнитивная история позволяет на новом уровне исследовать интеллектуальный багаж большевизма. Но для разгадки феномена большевизма потребуется системный и междисциплинарный анализ, концентрация всех возможностей современного гуманитарного знания.

Основными сюжетами дискуссии должны стать вопросы тождества и различия большевизма правящей элиты и социальных низов, проблемы эволюции большевизма в связи с основными поворотами советской истории, соотношение демократических и антидемократических элементов в большевизме. Сложность проблемы позволяет мне высказать предположение о том, что вопрос о большевизме может оказаться столь же обманчиво "легким", как и вековая дискуссия о "русском феодализме" [Ивонин, 2011].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Александер Дж.С. Марксизм и дух социализма: истоки культурного антикапитализма. Социс. 2013. № 6.

Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М., 1991.